

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ПАН-РЕГИОН

ВРЕМЯ
МОЖНО
УВИДЕТЬ.
БУДУЩЕЕ
МОЖНО
МОДЕЛИРОВАТЬ.
СТРАНУ
МОЖНО
СОХРАНИТЬ.

СКИФ-9

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
СЦЕНАРИЕВ

ТЮМЕНЬ
НИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
5 ЭТАЖ

 **ХОЛОДНАЯ
ЗВЕЗДА**
冷星计划

ПАРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА
КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
РОССИЯ - КИТАЙ
2009

АИ, СССР АНДРОПОВА 2

Желько Максимович АИ, СССР Андропова 2

<https://litres.ru/74357609>

SelfPub; 2026

Аннотация

АИ, Андропов 2 — масштабный роман в жанре альтернативной истории и стратегической фантастики. Ключевая точка расхождения с известной нам реальностью — февраль 1983 года: Юрий Владимирович Андропов не умирает, а выживает благодаря экспериментальному швейцарскому препарату «Гемоксал-В», который вводит врач Блохин с личной санкции академика Чазова.

Сюжет. Роман охватывает почти полвека — с 1983 по 2032 год. Андропов, пережив клиническую смерть, обретает уникальную способность к стратегическому предвидению («видит время»). Опираясь на работу закрытого тюменского НИИ стратегического моделирования («пятый этаж»), возглавляемого Верой Лебедь, и её модель «Скиф-9», он проводит мобилизационный сценарий: страна делает ставку на технологический суверенитет — собственную микроэлектронику, квантовые вычисления, науку. Советский Союз не распадается.

Желько Максимович

АИ, СССР Андропова 2

Глава 1. Пунктир (1996, Тюмень)

Аналитическая записка № 14/88-К. Уровень: 5-й этаж. Горизонт: 30–50 лет.

«Когда пациент выживает вопреки прогнозу, болезнь меняет не тело — она меняет саму архитектуру времени. Мы вошли в ветвь, которой не должно было существовать».

1

Снег лежал на подоконнике четвёртого этажа серой ватой — той особенной тюменской ватой, что впитывает не только влагу, но и звук. Вера Сергеевна Лебедь смотрела, как снежинка ударяется о стекло, на секунду задерживается — живая, шестилучевая, совершенная — и превращается в каплю, стекающую вниз по мутной поверхности. Она насчитала семь таких ударов, прежде чем заставила себя вернуться к распечатке.

Цифры расплывались. Нет, не от слёз — Вера Сергеевна не плакала с восемьдесят пятого, с похорон матери, —

а от усталости. Глаза, сорок семь лет прожившие на свете, из них последние десять — в режиме четырнадцатичасового рабочего дня, отказывались фокусироваться на восьмом кегле матричного принтера.

В коридорах НИИ стратегического моделирования было тихо, как в архиве, которым это место, по сути, и являлось. Здание построили в пятьдесят четвёртом как общежитие для геологов — крепкое, сталинской архитектуры, с толстыми стенами и высокими потолками. В шестьдесят девятом геологов переселили в новый микрорайон, а сюда въехал Институт комплексного прогнозирования при Тюменском отделении Академии наук — скромная вывеска, за которой скрывалось то, что сотрудники между собой называли «пятым этажом».

Пятого этажа в здании не было. То есть формально он был — четыре жилых этажа плюс технический чердак, — но в документах фигурировал именно как «технический этаж № 5». Лифт до него не доходил. Посетители, допущенные до четвёртого этажа, видели лестницу, упирающуюся в стальную дверь с кодовым замком. На вопрос «что там» сотрудники пожимали плечами: «Архив».

На самом деле архив был в подвале. А на пятом этаже располагался ситуационный центр — шесть комнат без окон,

обитых звукопоглощающими панелями, с автономной вентиляцией и источником бесперебойного питания, способным держать нагрузку трое суток. Там, в искусственном свете люминесцентных ламп, двадцать три аналитика работали над задачами, которые официально не существовали.

Вера поднялась на пятый этаж в восемь утра. Охранник — один и тот же, бессменный, с восемьдесят первого года, — кивнул ей, не поднимая глаз от журнала. Его звали Виктор Палыч, и он был единственным человеком в институте, знавшим всех в лицо, но не знавшим ни одной фамилии. Так требовал протокол.

Она прошла в пятую комнату — свою. Стол, три монитора «Электроника», логарифмическая линейка (привычка, оставшаяся с семидесятых), графики на стенах, пришпиленные канцелярскими кнопками. И главное — распечатка. Та самая.

2

Модель «Скиф-9» была детищем Виктора Ильича Заславского — математика, приехавшего в Тюмень из новосибирского Академгородка в семьдесят шестом. Заславский был из поколения «детей оттепели»: верил в кибернетику, в системный анализ, в то, что историю можно — нет, не пред-

сказать, — но картировать. Как синоптик не предсказывает погоду, а рассчитывает вероятность атмосферных фронтов, так и аналитик пятого этажа не предсказывал будущее — он вычислял коридоры вероятностей.

Заславский умер в девяносто первом. Сердце. Ему было пятьдесят три. На похороны пришли четверо: вдова, сын-студент, Вера и куратор из Москвы — высокий, сутулый, в штатском пальто не по размеру. Куратор ничего не сказал, только положил на гроб ветку ели.

«Скиф-9» пережила создателя. Вера дописывала её одна — точнее, с коллективом из семи программистов, но концептуально одна. Заславский оставил три общие тетради в клетку, исписанные убористым почерком: уравнения, комментарии, диаграммы. Разобрать их могла только Вера. Иногда ей казалось, что он писал их специально для неё — как послание из прошлого.

Суть «Скифа» была проста и одновременно еретичка. Вопреки господствовавшей тогда теории конвергенции (Запад и Восток сближаются, образуя нечто универсальное), Заславский утверждал: цивилизации расходятся. Не сближаются — расходятся. Точка бифуркации — не абстрактный «конец истории», а конкретное решение конкретного человека в конкретный день. Умрёт Генеральный в восемьдесят тре-

тjem — сработает один каскад. Выживет — другой. Потому что личность уровня «альфа» не просто принимает решения. Она меняет само поле, в котором решения принимаются.

Вера помнила, как спорила с Заславским в восемьдесят первом. Она тогда была младшим научным, он — завлабом. Спорили о свободе воли. «Ты не понимаешь, Вер, — говорил он, протирая очки краем свитера, — свобода воли — это не про отдельного человека. Это про человечество в целом. Отдельный человек — функция. Но функция иногда переписывает уравнение».

— И кто переписал уравнение? — спросила она тогда.

— А вот это, — Заславский надел очки и улыбнулся, — мы узнаем *post factum*. Когда умрём.

Теперь он знал. Она — ещё нет.

3

Распечатка, которую она держала, была сводкой по трём сценариям.

Первый — «инерционный»: сохранение текущего курса, постепенная интеграция в мировую экономику на правах сы-

рьевого донора, ставка на экспорт углеводов как основной источник валютных поступлений. Вероятность сохранения единого евразийского пан-региона: сорок четыре процента.

Второй — «мобилизационный»: форсированное развитие высокотехнологичных отраслей, жёсткое ограничение вывоза капитала, приоритет науки и образования, создание автономной финансовой инфраструктуры. Вероятность: шестьдесят один процент.

Третий — «Чудесное разрешение»: расчёт на то, что Запад сам устанет от гегемонии, что глобализация окажется саморегулирующейся системой, что рынок решит все проблемы. Вероятность: двадцать три процента.

Но Вера знала то, чего не знали те, кто читал сводку на Старой площади. Она знала, что цифры лгут.

Нет, не лгут — они точны в рамках допущений. Но допущения были чудовищны. «Скиф-9» не учитывала фактор случайной смерти. Если завтра умрёт человек из Кремля — не обязательно первый, может быть, третий, четвёртый, — весь расчёт летит к чертям. Модель не учитывала фактор предательства: что делать, если ключевой министр окажется агентом влияния? Модель не учитывала фактор эпидемии:

что будет, если через тридцать лет случится пандемия, парализующая мировую экономику?

Заславский говорил: модель — это не пророчество, это карта минного поля. Она показывает, где мины. Но идти по полю всё равно приходится живым людям.

Вера взяла красную ручку и подчеркнула: «Рекомендация: немедленное воздействие на точку бифуркации 14-Г (технологический суверенитет, микроэлектроника). Окно возможностей: 18–24 месяца. Цена промедления: необратимый сдвиг в зону влияния Восточно-Азиатского пан-региона».

4

Февраль 1983 года. Тюмень. Квартира Веры на улице Республики.

Ей тридцать четыре. Она только что защитилась — тема: «Математические модели фазовых переходов в этнических системах». Оппоненты хвалили, но без энтузиазма: тема казалась маргинальной, не совсем научной. Этногенез, пассионарность, какие-то там «фазы» — это всё из Льва Гумилёва, а Гумилёв, как известно, сын поэта и сам поэт, только маскирующийся под историка.

Вера пришла домой, сняла туфли — новые, купленные специально для защиты, жали невыносимо, — и включила телевизор. Показывали какой-то концерт. Она налила чай, села в кресло.

Телефон зазвонил в десятом часу вечера.

— Вера Сергеевна? — голос был незнакомый, московский, с той особенной интонацией, которую она позже научилась распознавать как «пятый этаж». — Говорит куратор из Москвы. Дмитрий Алексеевич. Вы слушаете?

— Слушаю.

— Андропов выжил. Он будет жить. Пересчитывайте всё.

Трубка замолчала. В трубке были короткие гудки.

Вера сидела в кресле, сжимая телефонную трубку, и чувствовала, как мир — нет, не мир, а её личная картина мира, — сдвигается по шву. Она читала сводки, она знала прогнозы врачей, она предполагала — как и все в институте, — что вопрос недель. И вдруг — «он будет жить».

Что это меняло?

Всё.

Генеральный секретарь, пришедший к власти с программой реформ, — не просто политическая фигура. Это оператор системы. Если он умирает через год — система возвращается в прежнее русло, инерция бюрократии съедает реформы. Если он живёт — у системы появляется новый центр тяжести.

Андропов, получивший в своё распоряжение не месяцы, а годы. Человек, закрывший дело о «хлопковой мафии». Человек, начавший облавы на прогульщиков — жёстко, спорно, но показательно. Человек, поставивший вопрос о технологическом отставании не в кулуарном, а в публичном пространстве.

Что, если он успеет?

Что, если он успеет переломить тренд?

Вера достала тетрадь — ту самую, в клетку, с зелёной обложкой, — и открыла чистую страницу. Написала: «Исходное условие: пациент выжил. Ветвь: не предусмотренная базовой моделью. Требуется полный пересчёт».

Так начались десять лет пересчёта.

5

Октябрь 1993 года. Москва. Дом Правительства.

События, которые позже назовут «Октябрьским кризисом», Вера наблюдала по телевизору. Прямой эфир, CNN, картинка, от которой невозможно оторваться. Танки бьют по Белому дому. Дым над Краснопресненской набережной.

Она знала, что это — та самая точка бифуркации, которую они с Заславским высчитывали годами. Только в их моделях она называлась «14-Е» — внутриэлитный конфликт с применением силы. Вероятность благополучного разрешения (сохранения управляемости при минимизации жертв) оценивалась в тридцать два процента.

Тридцать два процента — это был не приговор. Это был вызов.

Где-то на пятом этаже Старой площади человек, читавший их сводки, должен был принять решение. И он принял.

Когда дым рассеялся, Вера поняла три вещи.

Первое: Россия вошла в ту ветвь, которую «Скиф-9» описывала как «управляемый демонтаж с сохранением ядра». Это была ветвь с вероятностью двенадцать процентов — самая маловероятная из всех просчитанных, — но она открылась. И она работала.

Второе: Конституция, которую примут в декабре, будет компромиссом. Не идеальным, но рабочим. Система получит новую точку опоры.

Третье: её работу больше не засекретят. То есть формально — да, гриф останется. Но суть — моделирование ветвлений — станет частью государственного мышления. Потому что человек на пятом этаже понял: без карты минного поля идти нельзя.

Именно в тот вечер — вечер четвёртого октября, когда по телевизору ещё показывали дымящийся Белый дом, — Вера впервые за долгое время заплакала. Не от страха. Не от облегчения. От странного, почти мистического чувства, что их расчёты — абстрактные, математические, на грани ереси — вдруг стали реальностью. Что цифры превратились в танки и конституции, в жизни и смерти, в дым над рекой.

1996 год. Тюмень. Тот самый день.

Вера отложила распечатку. Встала из-за стола, подошла к окну.

Снег всё шёл. Февраль в Тюмени — это не месяц, это состояние вещества. Воздух становится твёрдым, звуки — глухими, мысли — медленными. Город сжимается под тридцатиградусным морозом, как зверь в берлоге, и ждёт весны.

Но Вера не ждала весны. Она ждала звонка.

Звонок должен был раздаться в четырнадцать ноль-ноль. Сейчас было тринадцать сорок семь. Тринадцать минут — вечность.

Она подумала о том, что где-то в Москве, на пятом этаже власти — не в переносном, а в самом прямом смысле, на пятом этаже одного из зданий на Старой площади, — сейчас сидит человек, который держит в руках её сводку. И принимает решение.

Кто он? Она не знала. За десять лет работы с кураторами она научилась не задавать этот вопрос. Куратор — не человек. Куратор — функция. У функции нет лица, нет биографии, нет семьи. У функции есть только задача: передать ин-

формацию наверх и спустить решение вниз.

Но человек, читающий сводку на пятом этаже, — он другой. У него есть лицо. У него есть биография. У него есть семья. И от того, как он интерпретирует число «сорок четыре», зависит нечто большее, чем его карьера. Зависит, будут ли через тридцать лет её внуки говорить по-русски.

Внуки. Смешное слово. У Веры не было внуков. У неё вообще не было детей — брак, короткий, студенческий, распался в восемьдесят первом, детей не случилось, а потом работа съела всё. Сначала она думала: ещё успею. Потом поняла: не успею. И сделала выбор. Не в пользу одиночества — в пользу работы. Потому что работа заменяла ей то, что у других называется «смысл жизни».

Смысл жизни Веры Сергеевны Лебедь лежал сейчас на столе: восемь страниц матричной распечатки, испещрённых цифрами. Сорок четыре. Шестьдесят один. Двадцать три.

Она знала, что наверху прочитают не её цифры. Наверху прочитают резюме — одну страницу, подготовленную аналитическим управлением. А резюме будет осторожным. Очень осторожным. Потому что люди, пишущие резюме, не хотят брать на себя ответственность.

И тогда случится то, чего она боялась больше всего: решение будет принято не на основе точного знания, а на основе интуиции. А интуиция — плохой советчик, когда речь идёт о миллионах судеб.

7

Сентябрь 1986 года. Тюмень. Кабинет Заславского.

Заславский был жив. Он сидел за столом, заваленным графиками, и рисовал на доске какую-то схему. Мел крошился, падал на пол белой пылью.

— Смотри, Вер, — говорил он, не оборачиваясь. — Мы исходили из того, что система стремится к равновесию. Это классика. Кибернетика, гомеостаз, всё такое. Но что, если система не стремится к равновесию? Что, если она стремится к точке?

— К какой точке? — спросила Вера.

— К точке невозврата, — Заславский нарисовал на доске спираль и ткнул мелом в центр. — Вот сюда. Понимаешь? Система не хочет стабильности. Система хочет пройти до конца. Она как пациент, который глотает таблетки, но подсознательно хочет умереть. Или наоборот — выжить во-

преки всему. Мы думали, что Генеральный — это центр принятия решений. А он не центр. Он — катализатор. Он ускоряет то, что система уже выбрала.

— И что система выбрала?

— Не знаю, — Заславский повернулся. Лицо у него было усталое, серое, с красными прожилками на белках. — Потому и строим «Скифа». Чтобы узнать.

Тот разговор Вера запомнила навсегда. Через пять лет Заславского не станет, но его вопрос — «что система выбрала?» — останется с ней. Она будет задавать его себе каждое утро, глядя на графики. И каждый вечер, закрывая за собой дверь пятого этажа.

8

Телефон зазвонил ровно в четырнадцать ноль-ноль.

Вера взяла трубку.

— Вера Сергеевна? — голос был тот же, что и тринадцать лет назад. Московский, спокойный, без интонаций. — Дмитрий Алексеевич.

— Слушаю.

— Сводку прочитали. Резюме утверждено. Будет мобилизационный сценарий.

Вера молчала. Мобилизационный — это шестьдесят один. Это хорошая новость. Лучшая из возможных.

— Точка 14-Г? — спросила она.

— Принята к исполнению. Формируется межведомственная комиссия. Срок — восемнадцать месяцев. Ваши рекомендации переданы в профильный отдел.

— Я могу спросить... кто читал?

В трубке была пауза. Долгая. Такая долгая, что Вера подумала: сейчас положат трубку.

— Читали на самом верху, — сказал куратор. — Лично. Это всё, что я могу сообщить.

Трубка замолчала.

Вера положила трубку на рычаг. Посмотрела в окно. Снег всё шёл.

Где-то далеко, в точке, которую она никогда не увидит, её красное подчёркивание станет чьим-то приказом. Приказ станет документом. Документ станет деньгами, выделенными на микроэлектронику. Деньги станут лабораториями. Лаборатории — технологиями. Технологии — независимостью.

Или не станут. Потому что между подчёркиванием и приказом — пропасть. Между приказом и исполнением — вторая. Между исполнением и результатом — третья.

Так работала машина пятого этажа: тихо, без свидетелей, между снегом и цифрами. Машина, которая ничего не решала, но без которой решения были бы слепы.

Вера взяла распечатку. Сложила пополам. Убрала в папку.

В папке было тридцать восемь таких распечаток — по одной за каждый месяц с начала девяносто пятого, плюс несколько более ранних. Хроника медленного, невидимого поворота. Хроника того, как огромная страна — не самая большая в мире, но всё ещё огромная, — пыталась найти себя в новой реальности.

Она закрыла папку. На обложке — гриф «Для служебного

пользования» и номер дела. Снаружи — ничего, что указывало бы на содержание. Только цифры. Только буквы. Только пунктир.

Пунктир — так называла она про себя всю их работу. Пунктирная линия, проведённая из прошлого в будущее. В том месте, где линия обрывалась, начиналась развилка. И кто-то — не она, никогда не она, — выбирал, по какой ветви идти.

9

Июль 2008 года. Пекин. Олимпийский стадион.

Вере пятьдесят девять. Она сидит в гостевой ложе — не по протоколу, а по личному приглашению китайской стороны. За десять лет её статус изменился: из ведущего аналитика закрытого НИИ она превратилась в консультанта российско-китайской рабочей группы по стратегическому прогнозированию. Формально — совместные экономические перспективы. Неформально — сверка карт.

«Скиф-9» давно устарела. На смену пришла «Скиф-14», потом «Скиф-18». Каждая новая версия требовала новых данных, новых допущений, новых вычислительных мощностей. Но суть оставалась прежней: моделировать ветвление.

Показывать, где мины.

Церемония открытия — феерическая, ошеломляющая. Тысячи барабанщиков, синхронные движения, свет, звук. Китай демонстрирует миру то, что Вера называла про себя «технологическим скачком». Двадцать лет назад — страна третьего мира. Сегодня — вторая экономика планеты.

Она смотрит на это великолепие и думает о точке 14-Г. Той самой, микроэлектронной. Они успели тогда, в девяносто шестом. Не идеально — ничего не бывает идеально, — но успели. Комиссия отработала, деньги выделили, заводы построили. Российские чипы не стали мировыми лидерами, но они стали. И это «стали» значило больше, чем всё олимпийское золото.

Если бы тогда не подчеркнула — что было бы сейчас? У неё был ответ. «Скиф-18» просчитывала ретроспективные сценарии — что было бы, если бы. Если бы Андропов не выжил. Если бы не мобилизационный сценарий. Если бы 14-Г осталась без внимания.

Получалось: к две тысячи восьмому Россия была бы глубоко интегрирована в чужую технологическую экосистему. Не катастрофа, но зависимость. Не колония, но периферия.

Она смотрела на китайских гимнастов, взлетающих в воздух, и думала: мы на шаг позади. Но на шаг, а не на пропасть. И это — результат её работы. Её и Заславского. Её и двадцати трёх аналитиков пятого этажа. Её и человека, который когда-то, на пятом этаже Старой площади, прочитал сводку и принял правильное решение.

10

1996 год. Тюмень. Вечер того же дня.

Вера вышла из института в восьмом часу. Снег перестал. Небо очистилось, и над городом стояла та особенная, хрустальная тишина, какая бывает только в Сибири после затяжного снегопада. Звёзды — яркие, колючие, почти осязаемые — висели низко, как будто их можно достать рукой.

Она постояла на крыльце, вдыхая морозный воздух. Воздух был чистым, режущим, живым.

Подумала о том, что завтра — новый день. Новая распечатка. Новые цифры. Новый пунктир.

Подумала о том, что где-то в Москве человек, прочитавший её сводку, сейчас, возможно, тоже смотрит на звёзды. Или сидит в кабинете, просматривая следующие документы.

Или говорит с кем-то, от кого зависит ещё что-то, ещё более важное.

Она никогда не узнает его имени. Но это не имело значения. Важно было другое: он услышал. Он понял. Он принял решение.

Машина пятого этажа работала.

Вера поправила шарф, натянула варежки и пошла к автобусной остановке — немолодая женщина в сером пальто, невидимая среди сугробов, неотличимая от тысяч других тюменских женщин. В сумке у неё лежала папка с тридцатью восемью распечатками, которые никто, кроме неё и ещё нескольких человек в стране, никогда не прочитает.

Ветер дул с севера, нёс позёмку, забивал снегом следы.

Через три остановки она вышла. Дом — панельная девятиэтажка, третий подъезд, код «245» (она помнила, что надо сменить, уже год как собиралась, но всё руки не доходили). Лифт не работал. Она поднялась на шестой этаж пешком, открыла дверь.

В квартире было тепло. На кухне горел свет — забыла выключить утром. Вера сняла пальто, повесила на вешалку.

Прошла на кухню, включила чайник.

На столе лежала записка — она сама себе оставила вчера: «Позвонить сестре. Купить хлеб. Оплатить счета». Обычная жизнь. Обычные дела. Обычная женщина, которая днём решает судьбы континентов, а вечером забывает купить хлеб.

Чайник закипел. Она налила чай, села к столу.

Достала из сумки папку. Открыла. Перечитала ещё раз — теперь медленно, не как аналитик, а как человек. Цифра «сорок четыре». Цифра «шестьдесят один». Цифра «двадцать три».

Потом закрыла папку. Убрала в стол.

И только тогда, в тишине кухни, под мерный гул холодильника, позволила себе подумать о том, о чём не позволяла думать в рабочее время.

Они выиграли этот раунд. Но игра продолжалась.

Будущее не наступает — оно прорастает. Как трава сквозь асфальт. Как снег, падающий на подоконник серой ватой. Как пунктирная линия, которую кто-то — не она — когда-нибудь превратит в сплошную.

Глава 2. Тело Генерального (1983, Кунцевская больница)

Стенограмма совещания врачебного консилиума. 9 февраля 1983 года. 23:40.

Присутствуют: академик Чазов Е.И., профессор Блохин Н.Н., три консультанта. Уровень допуска: «Особой важности».

1

В ночь с девятого на десятое февраля 1983 года в Кунцевской больнице решалась судьба мира. Никто из участников этого не осознавал — или осознавали, но гнали мысль, как гонят слишком яркий свет из тёмной комнаты. Врачи делали свою работу. Тело пациента — тело номер один, как его называли в документах, — боролось с отказом почек. Аппарат «искусственная почка» работал восьмой час, прогоняя кровь через мембраны, очищая её от того, что организм уже не мог очистить сам.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов лежал в палате № 7 спец корпуса. Ему было шестьдесят восемь. Из них последние полтора года он руководил страной — второй по ядерной мощи, первой по территории, третьей по населению. Страной, стоявшей на пороге реше-

ний, равных которым не принималось со времён индустриализации.

И тело этой страны сейчас лежало в палате № 7. Тело отказывало.

Евгений Иванович Чазов, начальник Четвёртого главного управления при Минздраве СССР — «кремлёвской медицины», как её называли, — стоял у окна и смотрел на ночной больничный парк. Снег, подсвеченный фонарями, падал крупными хлопьями — театрально, почти кинематографично. Чазов не любил снег. Он вообще не любил зиму, но профессия привязала его к Москве намертво, и каждую зиму он переживал как личное оскорбление.

Ему было пятьдесят четыре. За плечами — блестящая карьера: академик, лауреат, доверенное лицо Брежнева. Он знал организм первого лица лучше, чем организм жены, — в конце концов, карту пациента он видел каждый день, а жену в последнее время всё реже. Он знал, что почки Генерального умирают. Он знал, что аппарат не вечен. Он знал, что утром нужно звонить в Политбюро и говорить то, чего говорить не хочется.

Он не знал только одного: что в соседней комнате, за стеной, его коллега и соперник по научным спорам — Николай

Николаевич Блохин, хирург, онколог, человек со славой врача-философа, — готовит альтернативу.

2

Блохин вошёл в ординаторскую в начале двенадцатого. Он был в гражданском — серый костюм, белая рубашка без галстука, — потому что приехал не из дома, а с совещания в Академии. Совещание было по онкологии — Блохин возглавлял Онкологический научный центр, — но мысли его были здесь, в Кунцево.

В портфеле у него лежала ампула.

Ампула была небольшая, из тёмного стекла, с этикеткой на немецком и французском. «Gemoxal-B. Solution injectable. Usage strictement hospitalier». Препарат, не зарегистрированный в СССР. Препарат, о существовании которого знали, по оценкам Блохина, человек пять в стране — и трое из них сейчас находились в этой больнице.

Он получил ампулу три дня назад, когда первые признаки ухудшения стали очевидны. Спецканал — швейцарский посредник, связанный с советской резидентурой в Берне. Блохин не спрашивал, как именно доставили препарат. Он вообще не любил задавать лишние вопросы. За тридцать лет

работы в кремлёвской медицине он усвоил главное правило: чем меньше знаешь, тем легче спишь.

Хотя спал он всё равно плохо.

В ординаторской уже сидели трое консультантов — лучшие нефрологи страны. Лица у них были мрачные. Цифры, лежавшие на столе, не оставляли места для оптимизма: креатинин зашкаливал, диурез почти нулевой, артериальное давление падало.

Когда Чазов произнёс фразу «я обязан доложить в Политбюро: прогноз неблагоприятный», Блохин понял: пора.

3

— Евгений Иванович, подождите. Есть ещё один протокол.

Чазов обернулся. Лицо у него было усталое, серое, с мешками под глазами — он не спал двое суток, пил кофе литрами и уже начинал чувствовать ту особую, плывущую лёгкость, которая предшествует полному истощению.

— Какой протокол? Мы исчерпали все возможности советской медицины.

— Не советской. Швейцарской.

Блохин достал из портфеля ампулу и положил на стол. Тёмное стекло блеснуло в свете люминесцентных ламп — как глаз какого-то неведомого зверя.

Консультанты переглянулись. Они не знали Блохина так близко, как Чазов, но понимали: происходит нечто нестандартное. А нестандартное в кремлёвской медицине означало одно — опасность.

Блохин начал говорить. Голос у него был тихий, ровный, без эмоций — голос человека, привыкшего излагать факты. «Гемоксал-В» — экспериментальный препарат швейцарской фирмы «Сандос». Разрабатывался как средство поддержки почечной функции при тяжёлых интоксикациях. Не сертифицирован в СССР. Не сертифицирован даже в Европе — прошёл только вторую фазу клинических испытаний.

— Данные по выживаемости, — Блохин раскрыл папку, — восемьдесят два процента против наших двадцати семи. При сравнимой тяжести патологии.

— Откуда данные? — спросил Чазов.

— Из Женевы. По спецканалу. Три дня назад я предвидел ухудшение и запросил всё, что есть.

Чазов молчал. Он смотрел на ампулу так, как смотрит опытный минёр на незнакомое взрывное устройство. Теоретически — можно обезвредить. Практически — может рвануть.

В комнате повисла тишина — та особенная медицинская тишина, в которой слышно только дыхание и тиканье настенных часов.

4

1975 год. Москва. Кабинет Блохина в Онкологическом центре.

— Ты понимаешь, чем рискуешь? — спросил Чазов.

Они сидели вдвоём, пили чай из гранёных стаканов — старая привычка, ещё с пятидесятых, когда оба были молодыми врачами и верили, что медицина может всё. Теперь, двадцать лет спустя, они оба знали, что медицина не может почти ничего. Но чай всё ещё пили из гранёных стаканов.

Блохин тогда — в семьдесят пятом — пришёл к Чазову

с проектом: создать в структуре Четвёртого управления специальный отдел медицинской разведки. Звучало как оксюморон. Медицинская разведка — что это? Следить за здоровьем лидеров вероятного противника? Да, в том числе. Но не только. Главное — отслеживать мировые медицинские разработки. Всё, что появляется на Западе в области реаниматологии, нефрологии, кардиологии, иммунологии. Все экспериментальные препараты, все новые протоколы. Не для публикаций — для практического применения. Для спасения конкретных тел.

Чазов тогда идею не поддержал. Написал резолюцию: «Интересно, но преждевременно». Блохин обиделся — но не перестал работать. Он создал систему сам. Неофициальную. Периферийную. На грани допустимого.

И вот теперь, восемь лет спустя, эта система дала плод. Ампула, лежащая на столе, была прямым результатом того давнего разговора. И Чазов это знал.

5

— Если препарат убьёт его... — начал Чазов.

— Если мы ничего не сделаем — он умрёт гарантированно, — перебил Блохин. — Если сделаем — у него есть шанс.

Математика, Евгений Иванович. Обычная математика.

— Математика на Генеральном секретаре не работает. Здесь работают последствия.

Блохин выдержал паузу. Он знал, что Чазов прав. В обычной палате — да, работает математика: восемьдесят два процента лучше, чем двадцать семь. Но в палате № 7 математика умножается на геополитику. Смерть Генерального от неизвестного швейцарского препарата — это не врачебная ошибка. Это международный скандал. Это подозрение в диверсии. Это конец карьеры для всех, кто был в комнате. А возможно — не только карьеры.

— Последствия его смерти — вы их просчитывали?

Чазов не ответил.

— Я — да, — сказал Блохин.

Он достал из портфеля вторую папку — толще первой. Это была не медицинская документация. Это была аналитическая записка, составленная, судя по грифу, в каком-то закрытом институте.

— Аналитическая записка, — повторил Блохин, раскры-

Первый сценарий назывался «Консервация».

Блохин читал не по бумаге — он знал текст наизусть. Если Андропов умирает сейчас, в феврале восемьдесят третьего, его сменяет Черненко. Константин Устинович — человек аппарата, хранитель традиций, противник любых реформ, кроме косметических. Система замирает. Кадровые перестановки, начатые Андроповым, сворачиваются. Борьба с коррупцией тихо сходит на нет. Партийная номенклатура облегчённо выдыхает и возвращается к привычному ритму — съезды, награждения, охотничьи хозяйства, спец пайки.

Но проблема в том, что страна уже не может жить в этом ритме. Технологическое отставание от Запада нарастает. Афганская война тянется без ясной перспективы. Цены на нефть — главный источник валюты — начинают снижаться. Инерция, которая ещё работала при Брежнев, при Черненко перестаёт работать. Наступает то, что аналитики называют «обскурацией» — распад системы изнутри, без внешнего толчка. Прогноз: пять-семь лет до критической точки, после которой управляемость теряется необратимо.

Второй сценарий: Горбачёв.

Блохин на секунду остановился. Горбачёв — молодой, энергичный, с сельскохозяйственным образованием и ставропольским опытом. Его уже присматривают как возможного преемника. Если он придёт к власти — начнутся реформы. Какие именно — никто не знает. Сам Михаил Сергеевич, вероятно, тоже не знает. Но аналитики предупреждают: реформы в такой сложной системе, как советская, — это всегда риск. Система может не выдержать. Слишком много связей, слишком много интересов, слишком много людей, которым перемены невыгодны.

— Я не знаю исхода, — сказал Блохин, — там слишком много переменных, но интуиция подсказывает: система не выдержит.

Третий сценарий: он выживает.

Андропов получает ещё десять-пятнадцать лет активной работы. За это время он успевает завершить задуманное: технологическую мобилизацию, кадровую чистку (не в смысле репрессий — в смысле обновления), переход к новому экономическому укладу с опорой на науку и образование. Аналитики оценивают вероятность успеха как среднюю, но достаточную для того, чтобы попытаться.

Блохин закрыл папку.

— Мы получаем шанс, — сказал он. — Или нет. Но шанс появляется.

7

Чазов смотрел на коллегу и думал о том, что медицина бывает разная. Есть медицина тела — та, которой он занимался всю жизнь. Почки, сердце, лёгкие, давление, диурез. А есть медицина истории — та, о которой сейчас говорит Блохин.

Граница между ними проходила не по ведомственной, а по экзистенциальной линии. Врач лечит пациента. Но что делать, если пациент — государство? И если его тело, лежащее в палате № 7, — это не просто тело конкретного человека, а точка схождения миллионов биографий?

— Вы говорите как стратег, а не как врач, — сказал Чазов.

— В этой палате, Евгений Иванович, разница между стратегом и врачом исчезла.

И снова — тишина. Снег за окном. Тиканье часов.

Чазов знал, что Блохин прав. Знал с того самого момента, как «Гемоксал-В» лёг на стол. Риск был огромен — но риск бездействия был больше. Врач не имеет права убить пациента действием — это аксиома. Но врач также не имеет права убить пациента бездействием, когда действие возможно. А «возможно» — ключевое слово. Восемьдесят два процента.

Двадцать семь.

— Я прошу разрешения на введение препарата, — сказал Блохин.

Чазов посмотрел на консультантов. Они молчали. Их лица ничего не выражали — профессиональная привычка, выработанная годами. Никто не хотел брать ответственность. Никто не хотел высказываться. Решение должен был принять он — начальник, академик, доверенное лицо.

Он мог отказать. И тогда — Черненко, или Горбачёв, или ещё кто-то. И поезд истории пошёл бы по другому пути. Тому самому, который в Тюмени, в НИИ стратегического моделирования — о существовании, которого Чазов, возможно, даже не знал, — называли «инерционным». Сорок четыре процента. Или «реформистским». Двадцать три.

Или он мог согласиться. И тогда — неизвестность. Страшная, звенящая неизвестность процедуры, которая никогда не проводилась.

Он принял решение.

8

— Вводите. Я беру ответственность.

Последняя фраза была лишней — Чазов понимал это. Ответственность в таких случаях не берут, а принимают. Или не принимают. Или её возлагают *post factum*, когда уже ничего не изменить. Но ему нужно было сказать это вслух — для себя. Чтобы зафиксировать момент.

Блохин кивнул. Открыл стерильный набор. Руки у него не дрожали — тридцать лет хирургической практики давали о себе знать. Он разбил ампулу, набрал раствор в шприц. Жидкость была прозрачной, чуть желтоватой — как разведённый мёд.

Консультанты помогли подготовить капельницу. Никто не говорил. В комнате слышался только звук работающего аппарата «искусственная почка» — мерный, ритмичный, как сердцебиение какого-то механического зверя.

Блохин ввёл препарат.

Чазов стоял у стены и считал про себя. До десяти. До двадцати. До ста. Ничего не происходило. Аппарат продолжал работать. Капельница — капать. Пациент — дышать.

Время в палате № 7 текло не по обычным законам. Минуты длились как часы. Часы — как вечность.

9

1983–1996. Между временами.

Есть особая категория событий, которые не укладываются в линейное время. Историки называют их «точками бифуркации», математики — «фазовыми переходами», поэты — «моментами истины». Но ни одно из этих определений не схватывает сути.

Суть в том, что в такие моменты время раздваивается. Или расстраивается. Или расходится веером — как трещина на стекле. Из одной точки — множество линий. И каждая линия — это чья-то прожитая жизнь, чьи-то ненаписанные книги, чьи-то нерождённые дети.

В девять часов вечера девятого февраля существовал только один мир. В семь утра десятого февраля их стало как минимум два. В том, другом мире — том, который позже назовут «инерционной ветвью», — Черненко сменил Андропова, Горбачёв сменил Черненко, началась перестройка, закончилась распадом, и огромная страна рассыпалась на полтора десятка осколков. В том мире тюменский НИИ закрыли в девяносто втором, а Веру Лебедь уволили по сокращению штатов. В том мире она, возможно, торговала на рынке китайскими куртками или работала бухгалтером в какой-нибудь фирме — и никто никогда не узнал бы, что она умеет предсказывать будущее.

Но здесь, в этом мире, — в мире, где Блохин получил по спец каналу ампулу «Гемоксала-В», а Чазов принял решение, — история пошла по-другому. По третьему сценарию. По мобилизационному.

Но пока — пока ещё никто об этом не знал. Врачи сидели в ординаторской, пили остывший чай и ждали. Час. Два. Три.

В половине третьего ночи показатели начали меняться. Диурез — появился. Слабый, но появился. Креатинин — пошёл вниз. Давление — выравнилось.

В четыре утра Блохин сказал: «Кажется, работает».

В пять — консультанты, которые до этого молчали, начали перешёптываться: «Невероятно». «Этого не может быть». «Вы посмотрите на цифры».

В шесть — Чазов впервые за двое суток позволил себе закрыть глаза. Не спать — просто закрыть глаза. За веками плыли красные круги, но где-то там, за кругами, была мысль: получилось. Или почти получилось.

10

В семь часов двенадцать минут утра десятого февраля 1983 года Юрий Владимирович Андропов открыл глаза.

Это было первое осознанное движение за тридцать шесть часов — с того момента, как начался кризис. До этого были только рефлексy, стоны, бессвязные слова. А теперь — осмысленный взгляд. Взгляд человека, который вернулся.

— Который час? — спросил он. Голос был слабый, но отчётливый.

Блохин, дежуривший у постели, наклонился:

— Начало девятого, Юрий Владимирович. Утро.

— Хорошо, — сказал Андропов и снова закрыл глаза. — Работы много.

Блохин потом запишет эту фразу в дневник — не официальный, а тот, личный, который он вёл с пятьдесят третьего года и который никто, кроме него, никогда не читал. «Работы много» — сказал человек, только что вернувшийся с порога смерти. Не «спасибо», не «как дела дома», не «дайте воды». «Работы много».

В этом — весь Андропов. И в этом — причина, по которой Блохин верил в третий сценарий. Человек, который на краю могилы думает о работе, — не просто руководитель. Это оператор системы в чистом виде. Инструмент, через который история переписывает саму себя.

Июнь 1984 года. Москва. Заседание Политбюро.

Андропов вошёл в зал заседаний ровно в десять. Он опирался на трость — последствия болезни ещё сказывались, — но двигался самостоятельно. Год и четыре месяца, прошедшие с той ночи, изменили его внешне: он похудел, осунулся, стал больше похож на профессора, чем на партийного функ-

ционера. Но глаза остались прежними — цепкими, внимательными, ничего не упускающими.

На повестке был вопрос, который он продавливал уже полгода: создание Государственного комитета по научно-техническому развитию. По сути — органа технологической мобилизации. Министерства будущего.

Против выступали многие. Госплановцы боялись перераспределения ресурсов. Военные — отвлечения средств от оборонки. Идеологи — того, что «технологический рывок» потребует контактов с Западом и, как следствие, идеологической контаминации.

Андропов выслушал всех. Он умел слушать — это была одна из его сильных сторон. Не перебивал. Не давил. Просто сидел, положив руки на стол, и смотрел на выступающих.

Когда последний оратор закончил, он сказал — тихо, без эмоций:

— Товарищи. Вы все правы. Создание нового комитета — риск. Перераспределение ресурсов — больно. Контакты с Западом — опасны. Но я хочу спросить вас о другом. Как вы думаете, сколько времени у нас есть?

В зале повисла тишина.

— Я вам скажу, — продолжил Андропов. — У нас есть десять лет. Может быть, пятнадцать. Через пятнадцать лет технологический разрыв станет необратимым. И тогда никакие ракеты, никакие танки, никакие партийные съезды нам не помогут. Потому что война теперь идёт не на полях сражений. Война идёт в лабораториях. В конструкторских бюро. В университетских аудиториях. И если мы проиграем эту войну — мы проиграем всё.

Он выдержал паузу.

— Я предлагаю голосовать.

Комитет создали. Двадцатью голосами «за» при трёх «против» и двух воздержавшихся. Это был первый шаг. Маленький. Бюрократический. Но шаг.

Где-то в Тюмени, в здании с пятым этажом, которого официально не существовало, Вера Лебедь получила телефонограмму: «Сценарий "Мобилизация" переведён в активную фазу. Корректируйте расчёты». Она прочитала, кивнула, вернулась к графикам.

Пунктир начал превращаться в сплошную линию.

1998 год. Тюмень. Конференция по стратегическому прогнозированию.

Вере — сорок девять. Она делает доклад. Название — сухое, академическое: «Методология долгосрочного сценарного моделирования в условиях неопределённости». В зале — человек сорок. В основном — сотрудники родственного института, несколько человек из Москвы, один китаец (он появился в прошлом году, когда начались контакты по линии стратегического обмена, и Вера до сих пор не знала, как к нему относиться).

Доклад идёт своим чередом — формулы, графики, ретроспективные проверки. Но в конце Вера позволяет себе отступление, которого нет в официальном тексте:

— И последнее, коллеги. Я хочу рассказать вам одну историю.

Она рассказывает про палату № 7. Про Чазов и Блохина. Про ампулу из Швейцарии. И про то, как одна ночь изменила траекторию континента.

— Я не знаю имён, — говорит она. — То есть, знаю: их имена известны, это крупные фигуры советской медицины. Но я не знаю, что именно произошло в ту ночь. Моя работа — моделирование — позволяет реконструировать только то, что было после. Но это «после» подтверждает: была точка выбора. Был человек, который сказал «вводите». И был человек, который ввёл препарат. Если бы они поступили иначе — сегодня мы с вами не сидели бы в этом зале. Нас бы просто не существовало. Или мы существовали бы в другой реальности. В том мире, где наш институт закрыт. Где страна распалась. Где стратегическое прогнозирование — это раздел истории, а не действующая дисциплина.

В зале тишина. Китаец что-то записывает. Московские гости переглядываются.

— Это я к тому, — продолжает Вера, — что наши модели — это не абстракция. За каждой цифрой стоят конкретные люди. Конкретные решения. Конкретные ночи, проведённые без сна. История — не шествие абстракций; это сумма таких палат, таких препаратов, таких утр. Мы представляем её как реку, но на самом деле она — дерево. Ветка, по которой мы идём сейчас, началась там: препарат, ночь, двое врачей.

Она замолкает. Смотрит в зал.

— Поэтому, коллеги, давайте будем точны. От наших цифр зависит то, какие решения примут следующие «Чазовы» и «Блохины». И в каких мирах окажутся наши внуки.

Аплодисменты — сдержанные, как всегда, на таких конференциях. Но Вера видит: её поняли. Не все. Но достаточно.

13

В личном дневнике Блохина, который он вёл до самой смерти (умер в 1988-м, от инфаркта, в своём кабинете, среди бумаг и графиков), есть запись, датированная 11 февраля 1983 года. Всего одна строка, сделанная после бессонной ночи:

«Пациент жив. Я не знаю, что это значит для страны. Но для меня это значит, что медицина всё ещё может совершать чудеса. Правда, чудеса требуют не молитв, а спец каналов».

И ниже — приписка, сделанная, судя по цвету чернил, позже, может быть, через несколько месяцев, а может — через пару лет:

«История делается руками. Не провидением, не классами, не законами экономики. Руками. Конкретными. В конкрет-

ных палатах. Всё остальное — комментарий».

Снег в Тюмени всё падал. В Москве шёл мелкий февральский дождь — смывал остатки снега с тротуаров Старой площади. Где-то в небе над Атлантикой летел самолёт «Аэрофлота», и среди пассажиров был человек с портфелем, в котором лежала ещё одна ампула — на этот раз для обычного пациента, не для первого лица, но тоже спасающая чью-то конкретную жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.